



Свящ. Г. ПЕТРОВ

Страшный нигилист

Несколько лет тому назад в Пиренеях, в одном из курортов, я имел замечательную, незабываемую встречу. Познакомился с крупным церковным сановником Испании. Удивительная, редкостная фигура. Человек свыше семидесяти лет, изможденный, тощий, высохший как пергамент, он не переставал напряженно заниматься целые дни умственной работой.

Его рабочая комната и в курорте была завалена книжными новостями, свежими журналами и газетами, кроме испанского, на французском, итальянском, английском и немецком языках. Сановник порядочно понимал и русский язык, хотя говорить затруднялся.

Филолог по образованию, он дал ряд серьезных работ по юридическим наукам, по богословию, по педагогике и по общественным вопросам. Везде была сильная эрудиция и острый, глубокий анализ, но все это душило как-то читателя, ложилось на его душу тяжелой могильной плитой.

Такое же впечатление получалось и от его государственной деятельности. Благодаря своему уму, редкому образованию и постоянно подчеркиваемой преданности Церкви и интересам Рима, он пользовался сильной поддержкой папы и потому и сам у себя на родине был большой силой. Но эта громадная сила загадочным образом и стране, и делу римской Церкви приносила одни только роковые беды. Она не давала никому и ничему хода вперед: держала и духовенство, и народ в невежестве, вызывала общее раздражение, действовала разлагающим образом на жизнь страны. Интеллигенция озлоблялась против Церкви, теряла веру, становилась безбожною, враждебною ко всему, что только напоминало о религии; люди, искренно верующие, томилась духом, приходили в отчаяние, а натуры слабые, колеблющиеся, пугливо сторонились и думали лишь об одном, как бы уцелеть самим.

Помощниками его, державшими вместе с ним десятки лет в тисках бедную, духовно задуманную Испанию, были люди, Бог знает, какого склада и внутреннего достоинства. Все, что было честного и талантливое в стране, все сторонилось изможденно-го старика. Ему приходилось брать, кто шел к нему сам, и подбор получился ужасный. Ни одного искреннего, убежденного, идейного, одушевленного делом веры человека. Сплошь почти были казнокрады, взяточники, в лучшем случае — черствые карьеристы, бездушно холодные и к Богу на небе, и к Божьему делу на земле. Они ненавидели свое ведомство и взаимно презирали друг друга и, кажется, даже и самих себя. Наглые сатрапы над подчиненными им бедными захоластными патерами, они были бесстыдно льстивы перед своим принципалом. Старик, как умный человек, видел и презирал грубую лесть, но был развращен и отравлен ею: не мог жить без нее, не выносил ни малейшего несогласия, кричал, махал руками, топал ногами на самых почтенных духовных особ. Мне на курорте показали этого пергаментного старца и подробно рассказали о его личности и деятельности. Говорили:

— Хочет служить делу Церкви и убивает Бога в людях. Во имя, якобы, Христа, Бога любви, работает с руками по локоть в крови.

Я зашел раз по дорожке навстречу ему и посмотрел ему в глаза, которыми он вскинул на меня. Ужасные глаза. Не дай Бог их иметь никому: злое презрение ко всему и какая-то глубокая-глубокая тоска.

Мне не хотелось больше его видеть, и я избегал даже случайных встреч. Близко и лично познакомился сначала с секретарем. Секретарь был молодой ученый монах, человек пылкий, восторженный, исполненный пламенной веры в Бога и ревности к Божьему делу. Он и к своему патрону поступил исключительно ради блага Церкви: мечтал при посредстве своего принципала шире и плодотворнее проявить свое служение делу веры.

Теперь он ходил чем-то удрученный. Подолгу сидел один в глухой аллее парка подле отеля и часто вздыхал. Раз, поздно вечером, я, в открытое окно, видел, как он молился: он хватался за голову, жал руки к груди, бился головой о подножие Распятая. Я думал, что молодой монах переживает сердечную драму: спохватился, что он, не подумав, накрыл молодое сердце черной сутаной, и теперь жестоко страдает.

Мне было от души его жаль. Мне нравилось его сухое, благородно-красивое, интеллигентное лицо, и я любил со стороны наблюдать игру жизни на этом лице, когда молодой монах ожив-

ленно и даже страстно о чем-нибудь спорил со своим мумией-стариком.

И если что меня удерживало от более близкого знакомства с моим любимцем-монахом, то это именно его мумиеобразный старик. Знакомство, однако, состоялось.

После одного особенно жаркого спора со стариком, когда монах-секретарь чуть не плакал, а его патрон на что-то со злобой плевал, — мой любимец подошел ко мне на скамью, сел и беспомощно откинул голову с побелевшим лицом.

— Что, тяжело со святым отцом? — невольно вырвалось у меня.

— Ох, душно, — невольно также ответил он мне и отстегнул ворот сутаны.

Мы разговорились. Молодой монах, узнав мое звание, очень заинтересовался мною, засыпал вопросами о России, о русском обществе и народе, о значении религии в их жизни.

— Я познакомлю вас с моим патроном. Он будет страшно рад. Он очень интересуется положением Восточной Церкви и даже читает русские журналы и книги.

Я деликатно стал отказываться, — монах-секретарь настаивал. Я говорил, что скоро уеду, — он сильнее напирал:

— Тем более надо пользоваться случаем.

Я все-таки благодарил.

— Но почему! Почему вы не хотите познакомиться?

Потом, очевидно, догадался и тихо сказал:

— Вас пугает печальная репутация старика?

Я кивнул головой.

Он помолчал и, вскочив со скамьи, остановился передо мною.

— Впрочем, я понимаю вас. Восковой старик меня самого теперь пугает. Я боюсь его, я начинаю его ненавидеть. Я должен буду бежать от него. Я боюсь за мою веру, боюсь за моего Бога, за мою радость, счастье жизни, за мою любовь ко Христу, к моему Спасителю, к Свету моей души.

Молодой монах нервно крутил свои пальцы и то садился на скамью, то снова вставал.

— Я никогда не знал и тени чувства любви хотя бы к самой чистой девушке и без тревоги и смущения надел сутану. Я знаю, что надо мной бессильны чары женской любви и ласки. Мое сердце полно другой любви, — любви к моему Искупителю, к Тому, Кто за предавшее Его и поругавшее человечество пролил свою чистую кровь на Голгофе. И как бы я сам хотел пролить мою греховную кровь за него. Я завидую мученикам первых веков и люблю мечтать, с какою бы сладостью я терпел страдания,

муки и пытки во имя Спасителя, за устройство Его царства в человеческих сердцах. И вот я вижу, что подле моего воскового старика я как будто теряю позолоту с веры.

Он дыханием своего холодного сердца леденит мою душу. Он отравляет меня; разъедает, как кислота. Мне временами страшно с ним: начинает казаться, что это не человек, а дьявол, воплощение духа зла. До чего, до какого дела он коснется своими холодными костлявыми пальцами, там мне начинают казаться черные пятна, словно то место обожжено ядом. А при этом он все работает на пользу католичества, всегда и везде выше всего ставит и выдвигает церковные интересы. Все отдает Церкви, и в самом нет и намек духа Церкви. Как это примирить? Такая у человека власть в руках, такое широкое и благородное поле деятельности, такие большие способности и знание и — такой плачевный результат.

— Знаете что? — заторопился монах-секретарь, видя, что я хочу что-то сказать. — Я с многими за эти месяцы, что состою при нем, говорил о моем патроне. Спрашивал их мнения, почему вся жизнь этого человека-мумии была сплошным отрицанием жизни? И один профессор, по-моему, верно определил причину. Он сказал мне:

— В вашем патроне все — анализ и нет ни капли синтеза. Он, как кислота, может все разжесть, разложить, но у него нет цемента, он ничего не может соединить. Его удел — все живое разрушать и ничего никогда не создавать.

— Если так, — тяжело вздохнул монах-секретарь, — то какой это жалкий, несчастный человек.

— Я бы прибавил: «И ужасный человек», — сказал я и вдруг почувствовал, что мне хочется ближе рассмотреть мрачного старика.

— Такой тип интересный, редкий. Это своего рода — Уника, — думал я. — Надо воспользоваться случаем.

И я теперь сам попросил представиться мрачной тени светлой Испании. О знакомстве потом не пожалел. Восковой старик, как его называл секретарь, был человек, действительно, большого ума. Как он понимал положение вещей, как он метко говорил, какие яркие образы кидал мимоходом.

— Что у нас делается в католическом мире! Как тут не быть вражде в обществе против Церкви. Что у нас за прелаты, все духовенство, монастыри? Повальное невежество и нищета деревенских кюре и чрезмерное обжорство и тучность монахов! Впереди не лучше: школы духовные, Бог знает, что. Учат ветоши, занимаются старым мусором. Вот у меня тут на столе книга по-

лучена. (Его святейшество порылся и достал книгу на английском языке). Прислал ученый доктор богословия из Мадрида. Радуется и меня хочет порадовать событием: его книга переведена на английский язык. А о чем книга? О событии с ослицей пророка Валаама, как она обрела дар слова.

— Послушайте, это что же? — возмущался восковой старик, бегая по комнате, — Тут со всех сторон штурмуют Церковь, растет социализм, анархизм, волнуются обездоленные классы населения, каждый новый день несет тысячу новых жгучих вопросов, а человек пишет ученую книгу, убивает годы труда и жизни на ослицу Валаамову. Да это самому надо быть Валаамовой ослицей, чтобы в наши жгучие дни этим заниматься. И еще мне шлет. Радует. Вот я вернусь домой, я его обрадую.

Я слушал поток речи этого, казалось бы, совсем изможденно-го старика и только глаза таращил. Думал: если ты все это понимаешь, как же ты все это терпишь, все прикрываешь? Мало того, и другим перетряхнуть не позволяешь?

— Ведь от вас же все это зависит! — вырвалось, наконец, у меня. — У вас такая сила и власть, что же вы ничего не предпринимаете?

— Как? С чем предпринять? — спокойно спросил он.

— С людьми. Плохи одни, — поставьте других.

— Ха, ха, ха, юноша, молодой человек, — усмехнулся он. — С людьми! Где они, эти люди? Нет их. Есть разновидная подлость в человеческом виде, а людей нет, — и он круто переменял разговор.

И о чем бы он далее ни говорил: о литературе, политике, театре, печати, искусстве, — он все словно оголял, как будто с живых людей сдирал кожу и мясо и оставлял один безобразный окровавленный скелет.

— Вот они, ваши люди, — прибавлял он каждый раз с каким-то сладострастным озлоблением.

Мне, как и его секретарю-монаху, тоже стало душно, и я скоро распрощался. Более уже к нему не ходил.

Это не человек, а человекообразный холодильник души, говорил я себе.

Когда я на другой день передал секретарю-монаху наш разговор с восковым стариком, особенно его отзвывы о духовенстве, о монастырях, о духовной школе и о церковной администрации, монах ушам не верил.

— Да ведь если это сейчас напечатать и сказать, что все — подлинные слова моего патрона, — нас с вами новым бароном Мюнхгаузеном сочтут. Обвинят в невероятном сочинительстве. Как же все это понять? — снова недоумевал бедный секретарь.

— Очень просто, — сказал я. — Ваш принципал — величайший нигилист, какой только может быть в жизни. Он не просто отрицает те или иные учреждения, строй или явления жизни, — он отрицает целиком человека. Не признает наличности и возможности человека. Отсюда и все его мероприятия, в которых нет ни человеческой мысли, ни благородства духа. Он отрицает духовную красоту в человеке, не видит души. Не знает ее, не чувствует. Я даже не знаю: не отрицает ли он про себя и Самого Бога. Во всяком случае, это — величайший грешник. Помните, сказано: «всякий грех простится, не простится только хула на Духа Святого». Вот этот человек всю свою деятельность и творит один сплошной смертный грех, оскорбляет Дух Божий в человеке, не признает, а потому и давит образ Божий в человеческой душе. Не дай Бог, чтобы исполнились мои слова, но я думаю, что смерть этого человека, его последние часы и минуты будут ужасны. Когда ангел смерти предстанет ему и воззовет его на праведный последний суд, напишет ему все его деяния, подведет черту и скажет: «Высчитай и напиши итог!» — что тогда увидит, с чем пойдет к Богу, своему Творцу и Судии, этот столь грозный на земле и так жалкий на небе восковой старик?

Ужасный итог: потерял веру в людей, в свое дело и, наконец, в самого себя. Осталось одно голое ничто, и с этим ничто надо идти к Тому, Кто был, есть и будет Все.

— Бегите, дорогой мой, этого страшного старика, самого ужасного нигилиста, — убеждал я монаха-секретаря, прощаясь через два дня с ним и уезжая в Швейцарию. — Берегите в себе главную святыню, — веру в человека, веру в Дух Божий — который носится над хаосом жизни и ищет, где бы излиться в сердце человека. Не заколачивать, не закрывать надо сердца людей, а шире раскрывать, дать им возможность жадно насыщаться благодатным духом Божией правды и Божией любви.

На днях я получил письмо через знакомого. Бывший секретарь воскового старика на Ривьере встретил русского, моего знакомого, спросил обо мне и, не узнав точно адреса, просил при случае передать письмо. Письмо было написано еще в июле месяце. В письме монах, между прочим, писал:

— Вы оказались правы. Год тому назад умер восковой старик, и последние часы его жизни были прямо ужасны. Я был с ним до последней его минуты. Тогда я не ушел от него: не мог его оставить. После вашей беседы я пригляделся к нему еще ближе и тогда увидел, что, если после ужасна была его смерть, то ранее, пожалуй, еще ужаснее была его личная жизнь. Этот великий грешник, великий нигилист, как вы его назвали, был

вместе и великий страдалец. И я не жалею, что я был секретарем при таком ужасном человеке. Я глубоко убедился, что жизнь без веры в человека, без доверия к человеческому сердцу будет только адом и ничем другим, — кроме ада еще здесь, на земле, — быть не может.

